

Г. Л. ЛОВЦКИЙ**Философ библейского откровения
(К 100-летию со дня рождения Льва Шестова)*****1**

Он знал одну лишь пламенную страсть¹.

М. Лермонтов

Иегуда-Лейб Шварцман, приобретший мировое имя под псевдонимом «Лев Шестов», родился 31 января 1866 года в Киеве. Его отец Исаак Моисеевич Шварцман был тем, что называется *self made man*. Одаренный исключительным умом, даром блестящего остроумия, он обладал глубокими познаниями в области еврейской религиозной мысли и был неистощим при беседах с сыном в передаче легенд, мифотворческих рассказов, которыми так богата еврейская письменность. Многие из этих легендарных рассказов, преданий, изречений вошли в сочинения Л. Ш., и будущему исследователю источников его философского творчества предстоит благодарная задача протянуть нить, прочно связывающую философию автора «На весах Иова» не только к Библии, но и к позднейшей еврейской религиозной мысли. Сам Шестов, знакомясь с еврейским религиозным преданием из устной передачи отца, мог читать, к своему большому сожалению, свою настольную книгу Библию только в переводах. Он получил классическое образование, как большинство еврейской молодежи в России того времени. Питомец киевской и московской классических гимназий, он в молодости не сразу нашел свой настоящий путь — бросился на математический факультет, чтобы, после кратковременного пребывания на нем, перейти на юридический, но на поприще юриспруденции он и не думал делать так называемой карьеры. Его кандидатское сочинение, посвященное «Положению рабочего класса в России», по тогдашним цензурным и политическим условиям не могло быть напечатано, так как появление такого произведения в царской России являлось бы, по отзыву университетской профессуры, призывом к революции. Эта диссертация была последней данью Шестова научно-практической деятельности.

Когда Ницше, блестящий профессор, в 24 года ушел «из дома ученых и захлопнул за собой дверь», он оглядывался с отчаянием на напрас-

* Эту статью о философии Льва Шестова мы получили из Иерусалима от г-жи Д. Войславской. Автор статьи, покойный Г. Л. Ловцкий, приходился шурином Льву Шестову. Г. Л. Ловцкий был композитором, учеником Н. Римского-Корсакова. Статья печатается впервые. — *Прим. ред. «Нового журнала».*

но загубленные годы в области филологии. Профессорская карьера никогда не манила Л. Ш. В царской России она и была закрыта для него как для еврея; когда же он силой обстоятельств вынужден был в старости начать читать лекции сначала в Крыму, в симферопольском университете, а затем в течение долгих лет в парижском университете, он всегда говорил и читал только о тех проблемах философии, которые его занимали в данный момент: он и на кафедре создавал ту атмосферу, в которой зарождается нестесняемое никакими догмами свободное исследование в философии. Настоящим образом думать, говорит автор «Апофеоза беспочвенности», человек начинает тогда, когда он убеждается, что ему *нечего делать*. Для Спинозы все земные блага сводились к богатству, почестям и страстям, но амстердамский отшельник отвернулся от всех этих приманок жизни во имя своей «интеллектуальной любви к вечной вещи». Шестова не привлекали ни богатство, ни почести, но философия была для него величайшей *страстью*, и он вносил в свои философские думы и искания высшее напряжение, не знающее оглядки самозабвение, без сна, без отдыха, без заботы о собственном благополучии, здоровье, славе, успехе, семейном уюте.

2

Я ненавижу читающих бездельников².

Ницше

Постоянно среди книг, Л. Ш. не был книжным червем: больше, чем книги, больше, чем живое слово, он любил беседовать с живой природой. Сень деревьев в лесу, тишина звездной ночи, одиночество среди снежных равнин, в глетчерах³, на головокружительных тропинках швейцарских гор оплодотворяли его мысль сильнее, чем кабинетные удобные условия работы. Шестов, мастер философского письма, не любил писать и заставлял себя садиться к столу, только чтобы «закрепить» на бумаге свои выношенные в уединенных прогулках живые мысли.

Философия была для него, как для Платона, величайшей музыкой. Великолепный стилист, он писал с той классической простотой, которая устраняет всякую напыщенность. «Возьми красноречие и сверни ему шею», — говорил он вместе с Полем Верленом; у него нет и «непрямых высказываний», как у Киркегора: свою мысль он выражал с крайней прямоотой, сразу, с первых страниц всякого нового произведения, без всяких диалектических ухищрений и уверток, часто с горькой иронией философа, который видит, как паутинообразная диалектика опутывает непроницаемой сетью «доводов», «аргументов», «критикой» древо жизни и убивает — конечно, в своем воображении только — и Бога, и жизнь. Уже в названиях книг — метких, заостряющих поставленные себе автором задачи, в «удачах и счастье на ци-

таты», как говорил друг Л. Ш. М. О. Гершензон, — с ослепительной яркостью сверкали основные мысли, занимавшие Шестова в то или другое время его жизни.

Уже в первой своей книге «Шекспир и его критик Брандес» Л. Ш. начинает свою борьбу против философов — палачей, отрубивших голову Богу. Шекспир для него гениальный провидец-философ. Методом вслушивания в философское содержание шекспировских трагедий Шестов выявляет ту бесконечно разнообразную, единственную, неповторяющуюся мелодию человеческой души, которую поверхностные критики хотели уложить в «общее» красивых, но ничтожных слов, «в подвижную внешность истории или жизни», «в яркое и ароматное цветение, которое природа расточает на поверхности бытия» (Тэн).

«Отрубили голову Богу, чтоб иметь право отрубить голову королю» — однако и человеку, за права которого якобы вступилась новая философия, не поздоровилось: он отдан был в жертву мертвым сущностям; но автономная мораль, добро, братская любовь для Шестова не Бог — надо искать того, что выше добра, надо искать Бога (т. 2, «Добро в учении Толстого и Ницше. Философия и проповедь»). А это часто, против нашей воли, приводит нас к окраинам жизни, и философ, не убоившийся ни боли пессимизма, ни холода скептицизма, победивший в себе и то, и другое, на уединенных тропинках *адогматического мышления* (т. 4, «Апофеоз беспочвенности»), для не боящихся головокружения научается прислушиваться к той таинственной музыке, которую ему поют жизнь и смерть; настоящим образом думать о «Началах и концах» (т. 5) человек начинает не в средних поясах философии обыденности, а когда он вырван из «общего», из «всемства», по выражению Достоевского; тогда наступают те «*Великие кануны*», когда гений срывает с себя венок постылой земной славы, когда философ отметаёт весь обыденный «прагматический» (Джемс) религиозный опыт с его отбором общественно «полезных» безумий, и человек становится лицом к лицу с последней тайной. «Истина настоящего пророка с пророком рождается и с ним же умирает. То же, что остается после пророка, что становится достоянием истории, уже не истина, а общеобязательное, обыкновенно очень полезное, общественно ценное суждение» (т. 6, стр. 310).

Л. Ш. не хочет отдать «*Власть ключей*» ни единой всеопасающей догме, ни материальным или идеальным сущностям, вычерпываемым нашим падшим разумом из самого себя. Из глубины земной юдоли он вместе с псалмопевцем взывает к Господу, и его скорбь перевешивает «*На весах Иова*» (т. 8) песок морей, все эти материальные и идеальные сущности, которые навалились мертвой тяжестью на живую человеческую душу.

Шестов зовет нас к неусыпному бодрствованию: если уснут и те немногие праведники, которые живы верой, то мир навеки окамене-

ет в цепях слепой Необходимости, Рока, Судьбы древних, «первого двигателя» аристотелевой философии, мертвой «субстанции», действующей по законам своей природы (Спиноза), застынет в последней агонии пред бездушным Ничто, оборотившимся в Вечность, Неизменность, мертвый закон — все это идола спекулятивной, умозрительной философии, с которыми борется философия библейского Откровения (т. 9) «Киркегор и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне)».

Между «Афинами и Иерусалимом» (т. 10 сочинений Л. Ш. с подзаголовком: «Опыт религиозной философии»), между умозрительной философией и философией Откровения нет и не может быть примирения: либо надо отдаться во власть мертвых «сущностей», диктуемых нашим разумом, либо в сверхъестественном усилии прорвать заколдованный круг, очерченный вокруг нас умозрительной философией: этот круг — точно меловая черта, проведенная на земле вокруг петуха, за которую он не осмеливается переступить. Надобно сверхъестественное напряжение, чудо пробуждения от сна с открытыми глазами, трагический опыт, чтобы при жизни проснуться к жизни, чтоб дерзновенно прорваться за пределы «умопостигаемого» мира, перейти границу, отделяющую нас от тайн тысячи и одной метафизической ночи.

3

Кто настоящим образом философствует,
тот готовится к смерти и умирает⁴.

Платон

Шестов не разрушает всего, созданного до него в философии, чтобы воздвигнуть на развалинах свою новую, стройную систему. Философия, в противоположность науке, бережно сохраняет — не из антикварной любви и любопытства — все, вплоть до бесформенных торсов-фрагментов, что создавала философская мысль на протяжении тысячелетий исторического существования человечества, все истины, вечные и преходящие, все противоречия и заблуждения. И Л. Ш. в этих сокровищах прошлого и настоящего тщательно разыскивает и находит великолепные озарения, молнии философских откровений, даже у тех мыслителей, которые ему абсолютно чужды по духу, как Аристотель, Декарт, его современник — «друг-антипод» — Гуссерль; он с негодованием, очень редким у него, отвергает только те мысли, в которых он не находит божественных следов, как, например, толстовское «добро», «первого двигателя» Аристотеля, бога-субстанцию Спинозы, систему «лучшего Бога», до которой «додумался» протестантский теолог А. Гарнак⁵ на 75-м году своей жизни и т. п.

Философия для Шестова не рождается «из удивления», как наукообразно построенная философия Аристотеля, а из отчаяния, из провала

в пропасть, когда наступает «вдруг» «истинное пробуждение души в самой себе» (Плотин). Это случается с человеком редко, очень редко, в минуты, даже мгновения экстаза; нужен страшный подчас опыт, чтобы выбить нас из колеи привычного «категориального» ленивого плетения кружева мыслей по «законам» логики, чтоб у нас, как у Гамлета, «распалась связь времен». И истинный философ «пальцем о палец не ударит, чтоб поставить время на место: пусть его разбивается вдребезги».

Мы часто не углубляем достаточно наших мыслей, не додумываем их — сознательно или бессознательно — до конца, бросаем их по дороге из боязни попасть в дебри противоречий; нас подстерегают на каждом шагу и требуют покорности и повиновения выдуманное не жизнью, а нашим все из себя «черпающим» разумом «законы» достаточного основания, противоречия и др.; мы доверяем только тому, что создано нашими руками, нашим разумом, на каждом шагу ощупываем почву, оглядываемся и боимся в философии «взлететь над научным знанием» (Плотин). Но зачем настоящему философскому знанию подпорки, точно «оно не может само держаться»? Вы видите, что уже Плотин в редкие минуты экстаза поет гимн — «апофеоз беспочвенности».

Шестов не опирается ни на догмы, ни на авторитеты: свидетельство одного зрячего для него больше значит, чем миллионы согласных между собой показаний слепых, и оттого он черпает опыт многообразный, расцветенный яркими, «кричащими» противоречиями, у первоисточника — у патриархов, у пророков, у провидцев всех времен существования философской мысли. Он не боится мифов, легендарных рассказов, преданий; поэты и их метафоры для него не «лгут», как для Аристотеля: всюду, где он замечает дерзновенное стремление вырваться из власти $2 \times 2 = 4$, поработившей наше мышление и диктующей ему свои законы, его слух настораживается. «Стена» для него не отвод, не предлог сойти с намеченного пути: надо, по слову пророков, колотиться головой об стену, убить законы нашего привычного «умозрительного» мышления, чтобы выйти на свободу, к началам всего, к истокам существующего. Но в центре мироздания у Л. Ш. человек, не тот «теоретико-познавательный субъект», из которого умозрительная философия сделала «сознание вообще», а *этот* человек, созданный по образу и подобию Божьему, живущий, любящий, страдающий, проклинаящий, умирающий.

4

Когда эта кожа распадется в клочья, лишенный моего тела, я увижу Бога. Я Его увижу сам; мои глаза Его будут созерцать, не чужие...

Книга Иова. 19:26–27

Есть еврейская легенда, рассказывающая о том, как Господь занес свою карающую десницу, чтобы уничтожить валявшийся в грехе мир, и отвел ее, когда увидел нескольких праведников, которые проводили бессонные ночи над Торой и старались разгадать таинственный смысл Вечной Книги. Одним из таких праведников, для которых первая и последняя мысль о Боге, был и есть для нас Л. Ш. Из юдоли печали и слез он взывал к Господу, и всеильный Саваоф услышал его: его прах вернулся к земле, откуда он был взят, не к родной земле, не к Сиону, о котором он вместе с псалмопевцем не говорил, а скорбно пел: «Да прилипнет мой язык к гортани, если я забуду тебя, Сион».

Л. Ш. похоронен на чужбине, на кладбище в Булони в предместье Парижа. На надгробной плите фамильного склепа, в котором он похоронен, высечены пять традиционных еврейских букв, свидетельствующих о том, что он никогда, даже внешне, не отрекался от Израиля, в котором он родился. Автор «Опыта адогматического мышления» не придерживался внешних обрядностей, но, по его настоянию, на могиле его брата были прочтены псалмопения тем же парижским раввином, которому выпала доля проводить в место вечного упокоения и его прах. Немоцное тело было предано земле в осенний день — «очей очарованье», воспетый с такой силой, ударяющей по сердцам, его любимейшим поэтом Пушкиным, а дух его, не угасавший в нем до последней минуты его земной жизни, вознесся к Господу. Он умер, не пресыщенный годами, на 73-м году своей жизни. Он «знал», предчувствовал пред смертью, что не напишет своего труда об индусской религиозной философии, но горел юношеской страстью, перечитывая и передумывая индусские религиозные предания и мифы. «Странствованием по душам» индусских религиозно-философских мыслителей и провидцев он заключил свое земное странствие.

5

Что такое философия? Самое важное⁶.

Плотин

Заветной мечтой и задачей философов всех времен было, за редкими исключениями, создать метод, оружие разыскания истины по образцу того метода, которым пользуются точные науки, сделать из философии

«строгую науку» (Гуссерль), или, по крайней мере, гарантировать от вторжения «мечтательности и суеверия» (Кант) наши размышления о «последних вещах». Самых смелых противников рационализма, готовых даже пожертвовать в философских исканиях «дискурсивным» разумом, покидает мужество, когда они должны пуститься в плавание на поиски не дающейся, как клад, в руки последней истины и не снабжены при этом научным компасом, светом «большого» разума, «умного зрения» Спинозовской или иной интуиции. Они боятся быть «сметенными наукой» и ищут даже в религиозных откровениях нечто общеобязательное, что можно было бы вывести за скобки и подвергнуть научному рассмотрению — они хотят усмотреть логику даже в религиозном многообразном опыте. В скобках они тогда согласны оставить то загадочное, таинственное, что нам говорят видения пророков и озарения религиозных вождей человечества.

Для Шестова нет примирения между наукой и философией, если даже призвать на помощь научному методу разыскания истины «умное зрение» — интуицию во всех ее видах. Путь философии лежит не через академию Платона, куда был запрещен вход всем, не знающим геометрии, — это не путь «королевских наук» — математики и естествознания, где добываются всеобщие и необходимые истины, к которым, по Канту, жадно стремится разум. Философия не может быть ни общим деланием, ни наукой в общепринятом смысле этого слова. Основной признак научного знания, что оно может передаваться всякому и требует согласия всех; нет двух научных истин для Эйнштейна, предположим, и Ньютона: воскресни сегодня Ньютон, он бы пришел с творцом теории относительности к *одной* истине. И эта одна общеобязательная научная истина служит жизни, т. е. переходящим, практическим нуждам. «Задача философии вырваться, хотя бы отчасти, при жизни от жизни, не брезгать ни противоречиями, ни мифами, искусство изображать жизнь как можно менее естественной и как можно более таинственной и проблематической» (т. 8, стр. 199). Оттого в философии, как в религии и в искусстве, творец значит столько же, сколько и сотворенное им. В то время, как наука включает нас в «общий» мир, где царят ее «законы», установленный ею порядок, философия нас выбрасывает из созданного научной, умозрительной философией космоса научных идей и приучает нашу мысль там спрашивать, где для науки кончаются всякие вопросы.

6

Возможна ли метафизика?⁷

Кант

Мы знаем, как автор «Критики чистого разума» ответил на этот вопрос: раз метафизика не может быть построена по образцу «королевских наук» — математики и естествознания, — то все наши попытки

проникнуть за пределы «посюстороннего» мира напрасны, «потустороннее» останется для нас навсегда тайной за семью печатями: наш разум, «диктующий законы природе», свидетельствует об этом с той неоспоримостью и безапелляционностью, с которой он изрекает все свои приговоры-суждения, свои общеобязательные и необходимые истины. Бытие Божье, бессмертие души и свобода воли, т. е. все то, что составляет содержание метафизики по Канту, «не доказуемо», Бога и иной мир можно принять на веру, как «постулаты» практического разума, в силу требования нашего «морального настроения».

Как у Спинозы, Бог отождествляется с моралью: разум дал Канту глубокую уверенность и твердое знание, что Бог откровений целиком относится к области фантазерства и суеверия. Разуму, «пробному камню истины», доподлинно известно, что такого Бога нет и быть не может и что «откровения» тоже нет и быть не может. Во владениях разума логическая конструкция метафизики должна быть той же, что и логическая структура уже *оправдавших* себя положительных наук (т. 8, стр. 43), а так как в «запредельное» нельзя проникнуть теми средствами, которые предоставляет в наше распоряжение разум, то метафизика невозможна.

У Шестова не положительные науки судят метафизику, а метафизика — положительные науки. Философское «знание» не есть научное знание, которое стремится к возможному в пределах земных, к общеобязательной истине, к правилу-закону в пределах космоса. Кант, в сущности, написал не «критику», а апологию чистого разума: в царстве последнего не человек даже диктует законы природе, а законы диктуются законами же, на место человека живого поставлен мертвый принцип, «сознание вообще». Создается заколдованный круг, из которого человек естественными средствами вырваться не может. В пределах разума и в критической философии, и в после-критической философии господствует вместо жизни мертвый космос идей, вместо Откровения — научный закон, норма нравственности, убивающие и Творца, и Его божественный произвол.

7

Все признали, что разум судит,
но сам суду не подлежит⁸.

Лев Шестов

Можно побить разум его же собственным оружием, и софисты — те софисты, которые торговали истиной — делали обильное употребление из этого оружия, но Шестов меньше всего склонен заниматься бесплодной диалектикой, отдавав (?) ться «самодвижению понятий»: он человека ставит над разумом, дерзновение *этого* единичного человека,

вырвавшегося из лона «общего», ставит выше «законов» логики. Истин даже больше чем людей. Декарт, строгий рационалист сегодня, допускает завтра, что Бог — даже его Бог, который в силу законов своей природы, не может быть обманщиком — мог бы создать гору без долины — допускает явную «нелепость» с точки зрения «ясного и отчетливого» мышления по законам научно вышколенного разума. Не только на (?) небесах, даже здесь, на земле, «законы» разные для разных людей: в ком царственное доверие к жизни, кто предназначен «к лучшей участи», для того своя логика, тот не оглядывается, ища подпорки, тот не поддерживает истину логическими доказательствами, чтобы она не упала; в такие минуты даже Сократ бросает свою диалектику, чтобы прислушаться к голосу своего «демона», Платон уходит от своих идей-чисел к Эросу, к мифам; даже у бесстрастного Спинозы, говорящего о страстях человеческих как о треугольниках и перпендикулярах, вырывается — редко, правда — вздох: «Все прекрасное так же трудно, как и редко»⁹.

Наукообразная философия еще готова пожертвовать так называемым «дискурсивным» разумом, который возвращается со своего «пробега» по вещам, не только отягощенный медом своего подчас очень обманчивого опыта (весло, погруженное в воду, нам кажется сломанным, небо представляется твердым куполом, и т. д.), но и заключенный в строгие, неумолимые формы нашего восприятия: пространство, время и закон причинности для Канта — неограниченные властелины мира одушевленного и неодушевленного. Опыт, который не укладывается в рамки общеобязательности, Канта раздражает, тот единичный, неповторяющийся опыт, который умозрительная философия выбрасывает за борт. Но, как сказано, новейшая философия готова пожертвовать этим разумом, так сказать, улучшить его: за поверхностным, иллюзорным, «феноменологическим» слоем, под покрывалом Майи, скрывается иная, настоящая действительность, в которой царят непреложные «законы», истины, существующие раньше богов. Этим истинам сами боги, если бы они существовали, должны были бы подчиниться. Но богов нет, а если они и существовали в фантазии суеверных людей, то давно умерли: их убила та философия, «свободный дух» которой не хочет слышать никаких «мистических» голосов из «лучшего мира»: пред разумом должны «оправдаться», чтобы получить право на бытие и Творец, и Его создание; сама очевидность должна пойти на суд разума и получить там «правовой документ», доказательство ее права на существование-признание. Что такое самоочевидности, что такое самоочевидная истина? Это, так сказать, «аксиомы философии», предшествующие теоремам «геометрии бытия»: целое, например, больше своей части, два больше одного; невозможно, чтобы один и тот же предмет, одушевленный или неодушевленный, одновременно был в двух местах; нельзя остановить бег времени, а тем более обратить его,

чтобы, например, Сократ, отравленный в 399 году до Р. Х. вдруг ожил и заговорил с нами в лице, положим, Спинозы. Тут — математика, законы природы, а кто спорит с законами природы? Тут наш разум, вооружившийся своими законами, воздвигает «стену», о которой говорит Достоевский в своих «Записках из подполья» и пред которой человек, не вырвавшийся из «общего» аристотелевского мира, не вырвавшийся из «всемства», пасует: ум, воспитавшийся на Евклидовой геометрии, говорит нам, что к плоскости из данной точки можно возвести только один перпендикуляр; Лобачевский создал неевклидову геометрию, геометрию кривого пространства, где из одной точки можно возвести бесконечное количество перпендикуляров, он создал законы новой геометрии с ее новыми самоочевидными истинами, но законов, диктуемых разумом, он не нарушил: он перевел только наше мышление в новое пространство не трех, а четырех измерений; возникли новые аксиомы-самоочевидности, новые теоремы-истины кривого пространства, принимаемые сознанием-согласием всех ученых: одни законы сменились другими. В математике может одновременно царить только одна истина: один и один всегда там равняется двум.

Так говорит умозрительная философия, но что нам открывает действительность? «...в действительности бывает и так, что один и один равняется и трем, и нулю. Когда природа сложила ваятеля Софрониска и повивальную бабу Фанарету, в результате получилось не два, а три, причем третий, Сократ, оказался много большим, чем оба первоначальных слагаемых, взятых вместе». Мы видим, что на доводы и неотразимые доказательства нашего «математически» вышколенного разума мы не всегда можем полагаться. Декретируемые им в виде аксиом самоочевидности мы должны преодолеть. Даже в той области, где его рука, что называется, владыка, мы должны контролировать его «работу». Уж на что Д. С. Милль был защитником опытной, научнообразно построенной философии, но и он говорил, что если бы какая-нибудь посторонняя сила, божество, всякий раз, когда мы складываем два и два предмета, подкладывало пятый, то наш разум с такой же уверенностью провозгласил бы вечной истиной $2 \times 2 = 5$, с какой он теперь утверждает, что $2 \times 2 = 4^{10}$. Недаром опыт Канта раздражает: он нам приносит «капризы» жизни и действительности, где мы на каждом шагу переживаем даже чудеса, но умозрительная философия старается изо всех сил отклонить свое внимание от чуда, видя в нем насилие, а в скептических сомнениях, и по отношению к разуму, и по отношению к чувственному опыту, болезнь, которую надо в себе победить, поклонившись тому же разуму, который мы, проснувшись от «догматической дремоты», начали критиковать.

Когда мы спросим себя, каким это образом случилось, что разум одновременно себе присвоил роль и прерогативы неограниченного властелина, хозяина бытия, и роль судьи в собственном деле, то ни в од-

ной из теорий познания, созданных до сих пор математически или научно вышколенными умами человечества, не получим удовлетворительного ответа, или получим сердитый окрик Аристотеля, что много спрашивать есть признак невоспитанности философского ума — надо уметь вовремя остановиться: «ничего чересчур». Одним словом, в той или иной форме нам, более или менее любезно, как очаровательная Сусанна своему Фигаро, замазывают рот. Добросовестный философ попадает в положение трагического ницшевского осла, который не может ни нести, ни сбросить своей тяжести. Даже пробудивший Канта от «догматической дремоты» Юм говорит, что он похож на человека, который избежал с трудом кораблекрушения — между Сциллой «показаний чувств» и Харибдой «доводов разума», и все-таки пускается на том же утлом суденышке — в силу «привычки» — в далекое кругосветное плавание в надежде добыть золотое руно солидных доказательств и аргументации: пусть «необходимость существует в уме, не в объектах», пусть «необходимость внутреннее впечатление ума», мы во власти какой-то сверхъестественной силы, которую сами боги не могут сбросить, — «непреодолима власть Необходимости».

8

Необходимость — нечто непереубедимое¹¹.

Аристотель

Юму открылось, что мы находимся во власти какой-то таинственной силы, которую люди называли необходимостью, но *на самом деле* необходимой связи между явлениями нет: это наш научно вышколенный разум, в силу привычки, устанавливает там закономерность, где существует случайное соотношение фактов. Как будто и для него, как для Гамлета, распалась связь времен: все возможно; все, что угодно, может произойти из всего, что угодно; еще один шаг, и случайность, недоказуемость закономерной причинной связи между явлениями уступит место божественному произволу. В действительности произошло не то: против фактов Юм не спорит, тем более против исторических фактов. В одном из своих писем он заявляет, что ему никогда не приходило в голову отрицать историческое существование, например, Юлия Цезаря, наш разум только бессилен доказать существование этого факта в прошлом, приходится прибегнуть к *вере* в пределах разумно допустимого.

Если Юм вернул разуму почти все права, отнятые у него повседневным опытом и здравым смыслом, пустившись без «солидных доказательств» на утлом суденышке в дальнейшее плавание на поиски притупляющей истины, которой могли бы подчиниться все люди, то Кант,

проснувшийся под влиянием знаменитого шотландского философа от «догматической дремоты», пошел «дальше Юма» и вернул оскорбленному разуму все отнятые у него, было, права: все необъяснимое изгоняется в область «вещи в себе», и так называемые «синтетические суждения a priori» обеспечивают единой истине принудительность: мы снова попадаем в царство неограниченной необходимости, из которого метафизика торжественно изгоняется, так как ей недоступен «королевский путь» математических наук. И эта позиция сохраняется в умозрительной философии с некоторыми вариантами до нынешнего дня: боязнь попасть в область «фантастики и суеверия» так сильна в представителях спекулятивной философии, что они предпочитают худой мир с наукой и ее методом, чем добрую ссору с поработившим нас и нашу волю божеством — Необходимостью.

Это принуждающее «начало», как Протей, на протяжении тысячелетий исторического существования человечества являлось в разных образах. У язычников это Рок, Фатум, Судьба, стоящая над богами. Хотя стойки и утверждали, что *fata volentem ducunt, nolentem trahunt*, но волевой элемент отступал на задний план перед силой принуждения: ведут ли судьбы хотящего человека или тащат против его воли, точно пьяного в участок, свобода человеком утеряна. И не только человеком, но и богами. И люди, и дьяволы, и боги, и ангелы должны склониться перед «невозможно»: они все равноправны, или вернее, равно бесправны перед истиной, которая всецело подчинена разуму. Необходимость «не оскорбляет» даже Ницше, который «убил закон» — *amor fati* его лозунг. Что же это за страшная сила, перед которой склоняется и Творец, и творение? Кто вызвал ее к жизни? Или, может быть, это то бездушное Ничто, перед которым в страхе — «обмороке свободы»¹² (Киркегор) — склонился в бессилии человек? Или — еще страшнее: та Неизменность, которой дано обессилить, парализовать даже божественную любовь?

9

Мне кажется, что мир спит.

Шекспир. «Король Лир»

Мы находимся во власти какой-то страшной силы. Как бы мы ее ни назвали, она с неумолимостью идеально построенного механизма будет перемалывать все, что попадет между ее зубьями; она, как удав, задушит в своих объятиях все живое и прежде всего живого человека, несмотря на его вопли, протесты, проклятия. Умозрительная философия, вооружившись своим «геометрическим методом», своим «умным зрением» — третьим родом познания, интуицией, ответит вам на ваши крики, взывающие к небу, со зловещим спокойствием: «...не плакать, не смеяться, не проклипать, а *понимать*» (Спиноза).

Небеса молчали, молчат и будут молчать. Не искать же в самом деле помощи у легкомысленных богов Олимпа: сам Зевс в серьезную минуту признался Хрисиппу в своей бессилии — и он не может не преклониться перед истиной-Необходимостью. Он не может дать человеку тело и внешние вещи в полное распоряжение, а только на подержание, но он может уделить часть «от нас» (богов) — свободу хотеть или не хотеть. Правда, когда Прометей захотел похитить у него «полноту власти» — божественный огонь, он был прикован руками слепых прислужников Зевса Силы и Гефеста к скале, где коршун ему неустанно выклевывал печень, и из его души исходили стоны нечеловеческие, под бременем той Необходимости, от которой и богам не спастись. Тело наше приковано цепями, а душа в муках очищения (катарсиса) попадает в каменные объятия Ананке. Кому не нужен божественный огонь, тот «поймет», что за невозможным нечего гнаться: кто возлюбит разум и будет его слушаться, тому будет хорошо на белом свете. Этот же разум подскажет человеку стоическую добродетель: сами по себе «вещи» не имеют ценности, в нашей воле считать, что мы захотим, ценным или ничего не стоящим. Отсюда и берет начало так называемая автономная мораль... «Этика сама себе дает законы. Ей дано что угодно (конечно, что угодно ей) признать стоящим, важным, значительным и тоже что угодно признать нестоящим, неважным или никуда негодным. С автономной этикой тоже никто, даже и боги, не могут бороться. Все обязаны ей покоряться, все обязаны перед ней склониться. Этическое “ты должен” родилось в тот момент, когда Необходимость сказала свое “ты не можешь” и человеку, и богам» (т. 9, стр. 29).

И так оно остается до наших дней: сам «Бог не требует невозможного», свой божественный произвол он подчинил Разуму, а Разум «увидел», что необходимость — непреодолима, т. е. что ему «не дано овладеть созданным умершими богами миром» (т. 8, стр. 349). Бог превратился в «начало», действующее «по законам своей природы» под эгидой Вечности; огонь Откровения — в ровный повседневный свет «общеобязательных, необходимых суждений», в религию «в пределах разума», в «постулат» морального настроения, в проповедь добра и благочестия. В Библии можно найти нравственное поучение, а за истиной надо пойти к тому неумолимому судье, который изрекает, что сумма углов в треугольнике равняется двум прямым.

Лишь редкие философы, которые прошли мимо большой дороги умозрительной философии, чувствовали, что их воля порабощена, что они находятся во власти какого-то «наваждения и сверхъестественного оцепенения» (Паскаль), из которого нельзя вырваться естественным путем. И они делали сверхъестественные усилия, чтобы при жизни проснуться к жизни и прорвать заколдованный круг, очерченный во-круг нас Необходимостью.

10

Все, что разум смог вычерпать из себя, это — блаженство в фаларийском быке¹³.

Лев Шестов

Разум сковал нас цепями Необходимости, вечными истинами, которые не в нашей власти. Необходимость, пред которой склоняются сами боги, может у нас отнять отечество, лишит детей, пытать нас на медленном огне по воле тирана в фаларийском быке, — стоическая добродетель повелевает нам испытывать блаженство, которое является не наградой за добродетель, а добродетелью самой. Над жизнью мы не властны: мы должны поплатиться за свое «нечестие», за то, что в дерзновенном порыве вырвались из лона «единого» в «общее», мы и должны вернуться — так судила Судьба, над которой и боги не властны. Что в нашей власти, это — благочестие, и мудрец, причастившийся стоической добродетели, должен испытывать блаженство даже в фаларийском быке или, по крайней мере, «одинаково равнодушно нести и ждать того, что ему готовит судьба»¹⁴ (Спиноза): «Что действительно, то разумно»¹⁵ (Гегель).

Пусть рушится небесный свод
(без страха на развалины гляжу),
развалины не устрашат¹⁶.

А в ком нет стоицизма, кто не удовлетворится Спинозовским «пониманием» и начнет вопить, тому умозрительная философия ответит: «Вопи не вопи, твое дело пред судом разума безнадежно проиграно, твои стоны будут звучать сладкой музыкой в ушах тирана-Необходимости»¹⁷. Если так решала вопрос спекулятивная философия относительно этого живого человека, то о так называемых «жертвах истории» нечего и говорить. Если настоящие ужасы жизни по воле разума превращаются в нечто неизбежное, то как можно серьезно говорить об ужасах прошлого и требовать отчета, как Белинский, за каждую жертву инквизиции, истории? В судьбе Сократа, в жертвах инквизиции, преждевременной гибели таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Джордано Бруно, мы «умным зрением» должны видеть либо «идеальную механику процесса развития» (Гегель), либо даже «благую руку Провидения» (Вл. Соловьев)¹⁸, *оправдание добра*. Даже Киркегор, гениальный создатель экзистенциальной философии и яростный противник Гегеля, бежавший от него к «частному мыслителю» Иову, не может сделать «движение веры»: его Бог бессилён ответить на вопли распинаемого человечества; на пытке собственного существования, в фаларийском быке, он должен был признать, что сам Бог изнемогает в каменных объятиях «Неизменности», весь лю-

бовь и милосердие, Он не может избавить Киркегора от страха пред Ничто, от жалкого бессилия и перевести его из «категории» мысли в «кате­го­рию» жизни. Писать религиозно-этические назидательные сочинения датский мыслитель может, он может предаваться без конца «лирической диалектике», говорить без конца в непрямой форме о своем несчастье, но обнять любимую женщину он не может.

«Убили Бога» (Ницше) и на Его место воздвигли алтарь идолу — добродетели (блаженству даже в фаларийском быке).

11

...вы будете, как Боги,
знающие добро и зло.

Книга Бытие, 3:5

И Сократ, и его второе воплощение — Спиноза жили в тех «категориях», в которых мыслили; они, может быть, не испугались бы и фаларийского быка: Сократ это доказал своей стоической смертью, знание для него равносильно добродетели, и он умел самой ужасной истине смотреть прямо в глаза. Но его ученик Платон уже спасался от ужасов жизни в свой идеальный мир, и возможно, говорит Шестов, что знаменитая теория идей зародилась у Платона, когда умирал его божественный учитель: подлинного Сократа нам суждено увидеть «там», в идеальном мире. Спасает ли, однако, «бегство» в иной мир от ужасов бытия? Проблема о происхождении добра и зла, карамазовский мучительный вопрос о слезинке замученного ребенка властно вторгается в философию. Разрешение этой проблемы не становится более легким от того, что мы «бежали» из мира реального в мир идеальный, или от того, что наше знание превратило реальное в необходимое и научило нас принимать все, что нам судьба приносит. Может ли живой человек, свободный человек принять все «дары» нашего разума и основанной на разумных основаниях самозаконной морали — бесчестие своих дочерей, убийство своих сыновей, гибель своей родины?

Весь мир облетели знаменитые изречения Ницше: «Не старайся быть врачом у постели безнадежно больного», «Слабого надо еще толкнуть». С моральным негодованием многие обрушились на автора «По ту сторону добра и зла», кротчайшего и добрейшего человека в личной жизни, за его проповедь сверхчеловеческой жестокости. Эту проповедь «свиньи, перебравшиеся через ограду его мыслей», превратили в «слово и дело», в гнусную действительность. Мы обращаемся к помощи этики, чтобы обуздать дикие инстинкты: мы боимся, что с устранением морального начала фальстафы станут господами бытия, и мы бежим обратно к этическому, хотя оно нас не одаряет, а все отнимает, хотя оно ведет с собой и уничтожение, и смерть, ужасы бытия, пытку в фаларийском быке. Самый легкомысленный и беспечный

человек придет в отчаяние пред арсеналом средств, которыми располагает этическое, чтобы смирить непокорного человека, и смирится. Ведь этическое идет на поводу у неумолимостей, диктуемых нашим все из себя черпающим разумом, — тут и Судьба, которую возлюбил даже Ницше, тут и Необходимость, которой одинаково подвластны и боги, и смертные. «Не от меня моя жестокость», — говорит Киркегор¹⁹: и его Бог не может прорвать заколдованного круга, очерченного Неизменностью законов Его существа: Он может ответить словами любви и милосердия, но не может устранить фаларийского быка, не может уничтожить ужасы бытия, раздавить грех.

Кто же эта грозная сила, пред которой склоняются и боги, и смертные? Когда этика нас засадила в фаларийского быка своим неумолимым «ты должен», «геометрический метод» разыскания истины пришел со своим неумолимым «ты не можешь». Сам Бог, или субстанция, или природа, «действует по законам своей природы и никем не принуждаемый»: вначале был закон. Кто продиктовал этот неумолимый закон? Тот же падший разум, который диктует нам, что сумма углов в треугольнике равняется двум прямым. На вопли Иова, страждущего человечества, он отвечает: «...не плакать, не проклинать, а понимать». Умозрительная философия видит в Библии не истину, а «благочестие и повиновение», т. е. засаживает нас снова в застенок по воле тирана-Необходимости, на этот раз оборотившегося уже в Вечность. Этика, построенная геометрическим способом, отняла у нас надежду выбраться из фаларийского быка раз и навсегда.

Спокойный и уравновешенный Спиноза, «улучшивший» наш интеллект третьим родом познания, «умным зрением», привел нас к тому же дереву познания добра и зла, плодами с которого змей, который «был хитрее всех зверей полевых»²⁰, соблазнил нашу праматерь Еву.

12

Дерево познания высасывает все соки из дерева жизни²¹.

Лев Шестов

Библейское сказание о грехопадении есть основа и краеугольный камень в философии Льва Шестова. Он снова и снова к нему возвращается, для него это — истина, открывшаяся маленькому, бродячему, «невежественному» народцу. Змей, этот «синий безногий чулок»²² (Гейне), соблазнил много тысяч лет тому назад своей «диалектикой» человечество, и с той поры оно, очарованное, не может отвести глаз от дерева, хорошего для пищи, приятного для глаз и вожаденного для созерцания. Как Боги мы не стали, и наши глаза «открылись» только на нашу наготу, на нашу немощность и бессилие: путь к саду Эдемскому нам прегражден, и пламенный меч охраняет путь к дереву жизни.

Возможно для нас, падших людей, вернуться к райскому состоянию неведения, когда все было «добро зело», все было первозданная красота и мы мыслили в тех категориях, в которых жили? Умозрительная философия скажет, что такое невозможно. Как может человек препираться с Господом, как препирался Иов, ливший хулу, как воду? Как можно вернуть себе первозданную свободу, утерянную нашим прародителем в раю. И тут «скучные утешители» Иова в «диалектике» прославления Бога-справедливости, воздающего несчастному старцу «по заслугам» за его безумное дерзновение — препираться с Высшей Неумолимой Силой! — сходятся со «спекулянтами» (Киркегор) умозрительной философии: все должно склониться пред Его Величеством Разумом, угождать всем его моральным требованиям. Все ужасы бытия, постигающие даже праведников, неизбежны — так говорит Змей-Разум. О, он не обманул людей, соблазнив их плодами с древа познания добра и зла: даже для Киркегора, когда он не может сделать «движение веры», которое дало бы ему обладание любимой женщиной, сам Бог становится нравственным Началом: соединившись с Сатаной, Он кует свои коварные планы против человека. О Гегеле нечего и говорить: он всецело поклонился Змею. Для Ветхого и Нового Завета у него сарказмы Вольтера. Может ли человек на известной ступени своего развития принимать всерьез фантастические измышления, возникшие в младенческую пору его исторического существования?! Мы обладаем неоценимым сокровищем — «самодвижением понятий», разве не стоит за этот дар все из себя черпающего разума пожертвовать произволом Творца, вселенной да и самим Богом? «Все, что действительно, разумно». Змей добросовестно изложил нам всю «философию духа» Гегеля. Пеняй на самого себя, если ты не обладаешь стоической добродетелью, и вопишь, когда по тебе проходит колесница истории. Ты взываешь к Небу, ты проклинаешь, плачешь, негодуешь, но не хочешь «понять», как полагается всякому философу, стремящемуся к «истинной философии», что судьбы человечества решаются на математически точных весах, «геометрическим способом»²³ (Спиноза). Судьба Сократов, при смене одной эпохи другой, быть отравленными, как отравляют бешеных собак: наш разум диктует свой закон, и яд-цикута не делает разницы между мудрейшим из людей и взбесившимся животным. С благословения этики «мыслящий тростник» должен испытывать блаженство даже в фаларийском быке: ведь «блаженство не награда за добродетель, а добродетель сама»²⁴.

Если же *этот* страдающий, любящий и проклинаящий, живущий и умирающий человек выпадает из «общего» мира, где царит стройный порядок, «соответствие вещей и идей», если он не хочет быть камнем, одаренным сознанием, «презреннейшим ослом», осужденным умереть с голоду между двумя вязанками сена, не захочет быть даже «мыслящей вещью» и возопит не к «субстанции», конечно,

а к Господу, по образу и подобию которого он создан? На его вопли, на его «неудачи» самая снисходительная умозрительная философия, готовая даже идти на компромисс и допустить философию веры, ответит: в философии «исключений» не может быть; истинная философия есть философия «общего» — это значит, единая всеспасающая догма должна восторжествовать в мире. Разум сказал свое державное слово, и весь мир должен ему подчиниться, не то он пыткой, «без пролития крови», будет приведен к единой истине. «Разум вотще, истратив все средства убеждений и удостоверившись, что “исключения” увещаниям духовной власти не поддаются, передает их в распоряжение светской власти неумолимостей с тем, чтобы она “без пролития крови”, распорядилась согласно своим вечным законам и положила конец их бесплодной тревоге»²⁵ (Шестов).

Змей-Разум оказался хитрее не только всех зверей полевых: он перехитрил самого Творца Вселенной и превратил Создателя в нравственное Начало, не терпящее «исключений», посылающее их на костры за нарушение законов «благочестия и повиновения». Сам Бог не может помочь своему рабу-человеку в силу неизменности законов своей природы, по которым он действует (Спиноза). Библейский змей оказался духовным вождем лучших представителей мыслящего человечества (Шестов).

13

Я открылся тем, которые Меня
не спрашивали, был найден теми,
которые не искали Меня.

Книга пророка Исаяи 65, 1

Мы волей умозрительной философии очутились в очарованном царстве, где господствует неограниченный Самодержец-Разум с его общеобязательными и необходимыми суждениями, с его законами, с его самоочевидностями, непреложными, как аксиомы геометрии, с его автономными правилами поведения — их же нельзя преступить. Сам Бог, чтобы получить «предикат бытия», право на существование, должен обратиться за разрешением, «доказательствами» к тому же Деспоту, который повелел раз и навсегда, чтобы дважды два равнялось четырем. Мы окружены «стеной» похуже стен каторжной тюрьмы: там хоть есть надежда на выход, здесь — в царстве Разума нет исхода.

Но разумная философия решила без Хозяина. Миг — и замороженное царство рассыпается, как мираж в пустыне, умолкают, сраженные Господом, все «гладкие уста». Бог не захотел, чтоб созданный Им по своему образу и подобию человек превратился в пса, лающее животное, и возлюбил субстанцию интеллектуальной любовью, чтобы

мыслящий тростник превратился в «презреннейшего осла» или даже в «мыслящую вещь», «сознание вообще» и т. п. Его Раб рвется в неизбывной тревоге за пределы «умопостигаемого» мира к истокам Бытия, и «там», по-видимому, любят непокорных, которые дерзновенно отказались слиться с мертвой идеей, отказались обнимать и падать ниц пред богами-идолами, какие бы «соблазнительные» имена ни давала им философия веры. Этой философии веры Шестов предпочитает безбожие «исключений», приходящих в ужас от того, что сделали люди, «убив Бога». Пути Господа неисповедимы: Он открывается одним и ослепляет других. Творениям рук человеческих, доводам нашего разума, требованиям идола-морали, сокрушающим и сильного своей верой праотца нашего Авраама, и дерзновенно препирающегося с Творцом Иова, Шестов противопоставляет в качестве «довода» грома с Синаем. В том горнем мире, в который нас зовет философия Шестова, грех раздавлен, там зло вырывается с корнем — с ним не договариваются, его существования не оправдывают; «теодицеи», стремящиеся к оправданию божества, пустившего зло в мир, в сущности, увеличивают «диалектически» своими рассуждениями количество зла в мире (т. 8, стр. 56–58). Бог не нуждается в оправдании: Он не добро и не отрицает, как «этическое», а только одаряет. Вседержитель вселенной сам по своей воле творит и добро, и истину. Бог значит, что все возможно: Он может однажды бывшее сделать небывшим, обратить вспять бег времени; Он ожесточает сердца людей, как Он ожесточил сердце Фараона, но Он же уступает своему рабу Аврааму, когда тот молит Его не погубить нескольких праведников вместе с черной тучей нечестивых; Он возвращает Иову его детей и стада и приводит избранный Им народ, после мучительных странствований по пустыне, в землю обетованную, хотя этот народ «не знает», куда он идет и зачем он идет.

14

Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли.

Исход, 20:4

...человек не может увидеть Меня и остаться в живых.

Исход. 33:20

Мы, евреи, обладаем сокровищем из сокровищ — Торой, но не исчерпали еще ее бездонной глубины, не раскрыли всех ее Тайн мышлением веры. Ангел Господний, о котором рассказывается в одной еврейской легенде, одарил Шестова «вторыми глазами», и творец

«Афин и Иерусалима» увидел: если Бог не больше, чем разумное нравственное Начало, то Авраам погиб — ему не вернется его Исаак; Иов погиб — ему не вернутся его дети, его стада; все люди погибли жертвой Необходимости, Неизменности, Вечности — их воля порабощена: они не живые люди, созданные по образу и подобию Божьему, не вопящие из юдоли печали избранные существа, а одаренные сознанием камни, не плачущие, смеющиеся, проклинаящие цари творения, а «понимающие, мыслящие вещи», «разум и воля которых имеет столько же общего с разумом и волей бога-субстанции, сколько пес, лающее животное, со созвездием Пса»²⁶ (Спиноза). В Библии надо искать не «благочестие и повиновение», а Истину и последнюю Тайну. Но мы «падшие» люди. Глубину своего грехопадения особенно сильно чувствуют «исключения», выпавшие, благодаря трагическому опыту, из «общего», из «всемства»: вкусив в непобедимом вожделии от запретных плодов, они обессилели в страхе пред Ничто (Киркегор), потеряли первозданную свободу и возлюбили Фатум, «убив Бога» (Ницше). И чем гениальнее человек, тем мучительнее он переживает свое изгнание из рая, где не было различия между добром и злом, где все было «добро зело». Там, где «нормальный» человек пасует пред «стеной», «ретроградный джентльмен» из подполья подкапывается под самые основы нашего «знания»; он добивается утерянной свободы всякими дозволенными и недозволенными средствами, в «циничной», дерзновенной, бессмысленной форме: «Проклятие пустит по свету», лишь бы убедиться, что «он человек, а не фортепианная клавиша» (Достоевский), не «штифтик» в мировом механизме.

«Исключения» не хотят петь больше надзвездные «идеальные» песни, когда у них земля трещит под ногами: они не хотят быть ни «презреннейшими ослами», осужденными умереть с голоду между двумя вязанками сена, ни пристреленными «благостной рукой Провидения» грешниками-собаками.

Бог-Добро есть идол, созданный нашими все «понимающими» руками. Надо перебраться по ту сторону добра и зла, по ту сторону истины и лжи, преодолеть самоочевидности, чтобы при жизни проснуться от «догматической дремоты» к жизни, чтобы зажегся огонь Откровения. Бог может быть «несправедлив», по оценке автономной морали, Он может, вопреки Декарту, «обманывать» людей. Нет предела Его божественному произволу — для Бога все возможно. Он создал дивный мир — чудо из чудес, в котором все было «добро зело», сад Эдемский с его волшебными деревьями, но хитрый Змей-Разум соблазнил наших прародителей плодами с дерева познания добра и зла, соблазняет нас и теперь «гладкими устами» умозрительной философии, и дерево познания высосало все соки из дерева жизни. Мы, падшие люди, строящие вавилонскую башню «культуры», «цивилизации», «прогресса», не видим пропасти под ногами: мы променяли плоды с дерева жизни

на плоды с дерева познания добра и зла и утратили мышление веры, библейского Откровения. Мы поклонились Идолу-Разуму, «убили Бога», и Бог ответил «вавилонским» смешением языков, «последними днями» разрушения Содома и Гоморры. Спасти мир могут только праведники, «живые верой», «искатели Господа». Они отведут карающую десницу Саваофа от грешного мира. Наш заступник пред престолом Всевышнего — Лев Шварцман-Шестов. Он, праведный, живет и будет жить в наших сердцах и умах, сильный мышлением веры: он пробудил в нас «жажду слушать слова Господни». Не кончилась последняя и величайшая борьба между Истиной Откровения и общеобязательными истинами умного зрения. В этой борьбе псалмопевец победил и победит Голиафа. «Господь Бог сил коснется земли, — и она растает, и восплачут все живущие на ней» (Амос., 9:5), но их вопли, их крики скорби не будут напрасны: «на весах Иова» они перевесят песок морей, поднимутся к Небу и будут услышаны Всевышним, волей Которого Л. Ш. был послан на землю.

Иерусалим

К. Д. ПОМЕРАНЦЕВ

На вечере памяти Льва Шестова

Давно в русском Париже не было вечеров, стоящих на таком высоком уровне, на каком прошел вечер памяти Льва Шестова, устроенный друзьями и почитателями покойного философа по случаю исполнившегося в этом году столетия со дня его рождения. Правда, в вечере приняли участие и французы — философы и богословы, — пришедшие почтить память русского философа и рассказать о влиянии, которое оказала на них его мысль.

Вечер состоялся в помещении Р. С. Х. Д. — 91, рю Оливье де Серр, в субботу 12 февраля.

Его открыл председательствовавший на вечере профессор В. В. Вейдле, сразу же передавший слово долголетнему другу, знатоку и переводчику Льва Шестова на французский язык Борису Шлёцеру, который в исключительно блестящем и глубоко верном анализе вскрыл сущность как шестовской философии, так и самой личности философа.

По словам Шлёцера, Шестов никогда не был ни материалистом, ни идеалистом и, вообще, не подходил ни под какие философские каноны, так как не укладывался ни в какие традиционные рамки, проведя всю жизнь в борьбе против «двух страшнейших врагов человека — логики и морали», не только закрепостивших человека